

Содержание

Неспешность	7
Подлинность	139

НЕСПЕШНОСТЬ

1

Нам взбрело в голову провести вечер и ночь в каком-нибудь замке. Во Франции многие из них стали гостиницами: лоскут зелени, затерянный среди уродливых пространств, где ее нет и в помине; самая малость аллей, деревьев и птиц, заплутавших в необозримой сетке автодорог. Я сижу за баранкой и наблюдаю в ретровизор за идущей позади нас машиной. Мигает огонек слева, машина прямо-таки захлебывается от нетерпения. Водитель только и ждет случая, чтобы меня обогнать; он стережет этот миг, как ястреб стережет воробья.

Вера, моя жена, говорит: «Каждые пятьдесят минут на автотрассах Франции кто-нибудь да погибает. Ты только посмотри на придурков, что снуют вокруг нас. А ведь те же самые люди осторожничают сверх меры, когда у них на глазах грабят старушку в темном переулке. Отчего же им совсем нестрашно садиться за руль?»

Как ей ответить? Ну разве что так: человек, оседлавший мотоцикл, может сконцентрироваться только на очередной секунде своей гонки; он цепляется за клочок времени, оторванный

и от прошлого, и от будущего; он выдернут из непрерывности времени; он вне его; иначе говоря, он находится в состоянии экстаза, он ничего не знает ни о своем возрасте, ни о своей жене, детях, заботах и, следовательно, ничего не боится, ибо источник страха — в будущем, а он освобожден от будущего, и ему нечего бояться.

Скорость — это разновидность экстаза, подаренная человеку технической революцией. В противоположность мотоциклисту бегун никуда не может деться из собственного тела; ему хочешь не хочешь приходится думать о своих мозолях и одышке; на бегу он чувствует свой вес, свои года, с особой остротой ощущает самого себя и время своей жизни. Все меняется, когда человек передоверяет фактор скорости машине: тело его тут же выходит из игры, и он целиком отдается внетелесной, нематериальной, чистой скорости, скорости как таковой, скорости-экстазу.

Странноватое сочетание: холодная обезличенность техники — и пламя экстаза. Вспоминаю американку, которая лет тридцать назад со строгой и восторженной миной — ни дать ни взять аппаратчик по части эротики — читала мне ледовито-теоретическую лекцию о сексуальном раскрепощении; самым частым словом в ее речах было слово «оргазм», она повторила его сорок три раза, я не поленился подсчитать. Культ оргазма: пуританская утилитарность, просочившаяся в половую жизнь; деловитость взамен праздности, сведение полового акта к препятствию, которое надлежит как можно скорей преодолеть, что-

Неспешность

бы достичь экстатического взрыва, единственной цели любви, да и всей вселенной.

Почему исчезла услада неспешности? Где они теперь, праздношатающиеся былых времен? Где все эти ленивые герои народных песен, эти бродяги, что брели от мельницы к мельнице и ночевали под открытым небом? Неужели исчезли вместе с проселками, лугами и полянами, то есть вместе с природой? Чешское присловье определяет их сладостную праздность такой метафорой: они засмотрелись на окна Господа Бога. А кто засмотрелся на них, тому нечего скучать: он счастлив. В нашем же мире праздность обернулась бездельем, а это совсем разные вещи: бездельник подавлен, он томится от скуки, изматывает себя постоянными поисками движения, которого ему так не хватает.

Гляжу в ретровизор: все та же машина, что никак не может меня обогнать из-за встречного потока транспорта. Рядом с водителем сидит женщина: почему бы ему не позабавить ее болтовней, не положить ей руку на колено? Вместо этого он проклинает меня — я, видите ли, плетусь как черепаха, — а женщина уж тем более не думает погладить его по плечу, она мысленно ведет машину вместе с ним и тоже клянет меня последними словами.

И тут я вспоминаю о другой поездке из Парижа в пригородный замок, той поездке, что состоялась две с лишним сотни лет назад, а участвовали в ней госпожа де Т. и сопровождавший ее молодой кавалер. Они в первый раз оказались

так близко, и невыразимая атмосфера чувственности, окружавшая их, рождалась как раз неспешностью езды: покачиваясь в такт движению кареты, их тела стали соприкасаться, сперва безотчетно, потом намеренно, а там начала завязываться их история.

2

Вот что рассказывается о ней в новелле Вивана Денона: некий двадцатилетний дворянин как-то вечером оказался в театре. (Ни имя, ни титул не упомянуты, но я воображаю его дворянином.) В соседней ложе он видит даму (новелла называет только первую букву ее фамилии: мадам де Т.); это приятельница Графини, чьим любовником является молодой человек. Она просит проводить ее после спектакля. Удивленный решительным поведением госпожи де Т. и сбитый с толку тем обстоятельством, что он знаком с ее фаворитом, неким Маркизом (его имени мы тоже не узнаем; мы погрузились в мир тайн, где имена неуместны), молодой дворянин, ничего не понимая, оказывается в карете рядом с прелестной дамой.

В завершение милой и приятной поездки экипаж останавливается у подъезда замка, где их встречает мрачный супруг госпожи де Т. Они ужинают втроем в молчаливой и зловещей обстановке, затем муж извиняется и оставляет их одних.

В этот момент наступает ночь, слагающаяся, подобно триптиху из трех створок, из трех эта-

Неспешность

пов: сначала они гуляют по парку, затем занимаются любовью в одном из павильонов и наконец продолжают то же занятие в потайном покое замка.

Ранним утром они расстаются. Не сумев отыскать свою спальню в лабиринте коридоров, молодой дворянин возвращается в парк, где, к своему удивлению, сталкивается с Маркизом, тем самым, который известен как любовник мадам де Т. Только что приехавший в замок Маркиз сердечно приветствует его и объясняет причину таинственного приглашения: госпожа де Т. использовала юного повесу в качестве своего рода ширмы, чтобы он, Маркиз, оставался вне подозрений в глазах мужа. Радуюсь тому, что проделка удалась, он подтрунивает над молодым человеком, вынужденным сыграть комичную роль псевдолобовника. А тот, утомленный ночью любви, возвращается в Париж в экипаже, предложенном ему признательным Маркизом.

Эта новелла под заглавием «Ни завтра, ни потом» была впервые опубликована в 1777 году; имя автора заменяли (мы находимся в мире тайн) пять загадочных заглавных букв: М. Д. П. К. К., которые при желании можно рассматривать как «Мсье Денон, Придворный Кавалер Короля». Потом, в том же 1777 году, она была переиздана крохотным тиражом и совершенно анонимно, а годом позже вышла под именем другого писателя. Новые издания последовали в 1802 и 1812 годах, опять-таки без упоминания настоящего автора; наконец, после полувекового забвения, ее выпустили в свет в 1866 году. Начиная с этого времени

ее стали приписывать Вивану Денону, в течение нынешнего века она стала пользоваться все возрастающей известностью. Сейчас она числится среди литературных произведений, наиболее ярко отражающих искусство и дух XVIII столетия.

3

На повседневном языке понятие «гедонизм» означает аморальную склонность к разгульной, а то и порочной жизни. Это, разумеется, неверно: Эпикур, первый великий теоретик наслаждения, рассматривал счастливую жизнь крайне скептически: наслаждение испытывает тот, кто не страдает. Страдание, стало быть, является основным понятием гедонизма: мы счастливы в той мере, в какой можем избежать страданий; и потому наслаждения приносят обычно больше горя, чем радости, — Эпикур предписывает лишь благоразумные и скромные удовольствия. У эпикурейской мудрости меланхолический привкус: испытывающий мирские невзгоды человек приходит к выводу, что единственной явной и подлинной ценностью является наслаждение, сколь бы малым оно ни было, которое он может ощутить: поток свежей воды, взгляд, обращенный в окно (к Божьим окнам), ласка.

Скромные или нет, удовольствия принадлежат лишь тому, кто их испытывает, и какой-нибудь философ мог бы, строго говоря, поставить в укор гедонизму его эгоистическое основание. Однако с этой точки зрения ахиллесова пята гедонизма — не эгоизм, а его (я был бы рад оши-

Неспешность

биться!) безнадежно-утопический характер: в самом деле, я сомневаюсь в достижимости гедонистического идеала, я боюсь, что рекомендуемая им жизнь несовместима с человеческой природой.

Искусство XVIII века вывело наслаждения из тумана моральных запретов, оно породило атмосферу вольномыслия, царящего на полотнах Фрагонара и Ватто, на страницах де Сада, Кребийона-младшего или Дюкло. Вот почему мой юный друг Венсан обожает этот век, вот почему, будь его воля, он носил бы на отвороте лацкана своего пиджака профиль маркиза де Сада. Я вполне разделяю его восхищение, но добавляю (без всякой надежды на понимание), что истинное величие этого искусства состоит не в какой бы то ни было пропаганде гедонизма, а в его анализе: именно поэтому я считаю «Опасные связи» Шодерло де Лакло одним из величайших романов всех времен.

Его персонажи занимаются не чем иным, как поисками наслаждений. И однако, до читателя мало-помалу доходит, что их интересуют не сами наслаждения, а скорее их поиски. Что главную роль играет не страсть к наслаждениям, а стремление к победе. И то, что выглядит сначала веселой и бесстыдной игрой, незаметно и неотвратимо превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но что общего у борьбы с гедонизмом? Вспомним Эпикура, писавшего: «Мудрец не стремится ни к чему, связанному с борьбой».

Эпистолярная форма «Опасных связей» не есть лишь простой технический прием, который

можно было бы заменить любым другим. Эта форма красноречива сама по себе; суть ее в том, что все пережитое персонажами пережито лишь для того, чтобы стать рассказом, сообщением, исповедью, записью. В подобном мире, где все рассказывается, самым доступным и самым смертельным оружием становится разглашение, разоблачение. Вальмон, герой романа, адресует соблазненной им женщине письмо о разрыве их связи, письмо, которое окажется для нее смертельным ударом; пикантность положения в том, что послание это от начала до конца продиктовано его подругой, маркизой де Мертей. Чуть позже та же самая маркиза показывает конфиденциальное письмо Вальмона его сопернику; тот вызывает его на дуэль, оканчивающуюся гибелью Вальмона. После его смерти интимная переписка между ним и маркизой де Мертей в свой черед становится всеобщим достоянием, и маркиза кончает свои дни, окруженная всеобщим презрением, затравленная, изгнанная из большого света.

Ничто в этом романе не остается тайной, связывающей только два человеческих существа; весь мир оказывается внутри огромной гулкой раковины, где каждое слово звучит все сильнее, подхваченное бесчисленными и бесконечными отзвуками. Когда я был маленьким, мне говорили, что в раковине, поднесенной к уху, я могу услышать незапамятно древний шепот моря. Вот так и каждое слово, произнесенное в лаклозапертом мире, остается слышимым навеки. И все это — XVIII век? И все это — парадиз наслажде-

Неспешность

ний? Или, может быть, человек, сам того не сознавая, издревле живет в такой звучащей раковине? И уж во всяком случае, гулкая раковина не имеет ничего общего с миром Эпикура, велевшего своим ученикам: «Живи втайне!»

4

Принимающий любезен, даже чересчур, любезнее, чем положено при обычном приеме гостей в отелях. Вспомнив о том, что мы уже были здесь года два назад, он предупреждает нас, что многое с тех пор переменилось. Конференц-зал приспособили для разного рода лекций и семинаров, был построен бассейн. Желая взглянуть на него, мы пересекли светлый холл с огромными оконными проемами, выходящими в парк. В глубине холла широкая лестница спускалась к большому квадратному бассейну под стеклянным потолком. «В тот раз, — напомнила мне Вера, — на этом месте был маленький цветник роз».

Устроившись у себя в комнате, мы вышли в сад. Зеленые уступы спускались вниз, к Сене. Это было обворожительно, мы приготовились к долгой прогулке, но через несколько минут уткнулись в шоссе, по которому сновали машины, и волей-неволей нам пришлось повернуть вспять.

Обед оказался изысканным, гости были разодеты так, словно хотели отдать должное былым временам, воспоминания о которых зыбко мерцали под потолком зала. Рядом с нами устроилась

супружеская пара с двумя детьми. Один из них все время что-то напевал высоким голосом. Подающий с подносом в руке склонился над их столиком. Мамаша вперилась в него взглядом, как бы призывая рассыпаться в похвалах по адресу своего отпрыска; польщенный вниманием, тот вскарабкался на стул и начал заливаться соловьем. Лицо отца расплылось в счастливой улыбке.

Восхитительные бордоские вина, утка, десерт, составляющий секрет местной кухни, — все это располагало нас, сытых и довольных, к беззаботному времяпрепровождению. Потом, вернувшись к себе в комнату, я на минутку включил телевизор. На экране тоже были дети. Чернокожие и умирающие. Наше пребывание в замке совпало с той порой, когда в течение целых недель день за днем по телевизору показывали детишек из африканских стран с уже успевшими позабыться названиями (все это происходило два-три года назад, как удержать в памяти всю эту экзотику!), — стран, истерзанных гражданскими войнами и голодом. У детей, похожих на скелетики, изможденных, истощенных, не было сил, чтобы отогнать мух, что прогуливались по их лицам.

«А есть ли в этих странах умирающие старики?» — спросила у меня Вера.

В том-то все и дело, что нет; особенность этого голода, в противоположность прежним бесчисленным голодовкам, которые знала Земля, в том и состоит, что он подкашивает только ребяташек. Мы ни разу не видели на экранах ни одного изможденного взрослого, хотя смотрели

Неспешность

хронику текущих событий единственно для того, чтобы удостовериться в этом невиданном обстоятельстве.

Стало быть, нет ничего необычного в том, что не взрослые, а дети взбунтовались против жестокости старших и со всей присущей им непосредственностью организовали знаменитую кампанию под лозунгом: «Пусть дети Европы пришлют хоть немного риса детям Сомали». Сомали! Вот оно, это слово, забытое название страны! Знаменитый лозунг помог мне вспомнить выскочившее из головы имя. Ах как жаль, что теперь все это снова забылось! Дети купили рис, бесчисленное множество пакетов. Родители, вдохновленные всемирной солидарностью, одушевлявшей их отпрысков, собрали кучу денег, благотворительные организации предложили свою помощь; рис по крупинке был собран в школах, перевезен в порты, погружен на пароходы, держащие курс в Африку, весь мир стал свидетелем знаменитой рисовой эпопеи.

Не успели исчезнуть с экрана умирающие дети, как его заполонили девчушки лет шести-восьми, выраженные на манер взрослых, девчушки с умильными манерами старых кокеток, и это было так прелестно, так трогательно — ну прямо глаз не оторвать, особенно когда эти детишки, девочки и мальчики, подражая взрослым, начали целовать друг друга в губы; потом появился мужчина, держащий на руках грудного младенца; пока он втолковывал нам, как лучше всего отстирывать замаранные пеленки, к нему

подплыла молодая прелестница и, высунув чудовищно чувствительный язычок, всадила его в неимоверно любвеобильный рот мужчины с грудным младенцем.

«Пойдем-ка спать», — сказала Вера и вырубил телевизор.

5

Французские дети, сломя голову бросающиеся на помощь своим африканским сверстникам, неизменно вызывают у меня в памяти лицо интеллектуала Берка. Тогда он был в зените славы. Как это часто бывает со славой, его триумф был рожден неудачей. Припомним-ка: в восьмидесятые годы нашего века мир был поражен эпидемией СПИДа, болезни, передающейся посредством любовных связей и попервоначально свирепствовавшей особенно среди гомосексуалистов. Восставшая против фанатиков, видевших в этой эпидемии справедливую кару Божью и бежавших от больных СПИДом, как от зачумленных, более или менее терпимые люди относились к ним по-братски и старались доказать, что контакт с ними не чреват никакой опасностью. Претворяя в жизнь свои убеждения, депутат Дюберк вместе с интеллектуалом Берком решили однажды отобедать в одном из знаменитых парижских ресторанов в компании больных СПИДом; обед прошел в самой дружеской атмосфере, и, для того чтобы подать добрый пример другим, депутат Дюберк пригласил к десерту фоторепортеров

Неспешность

и киношников. Как только те появились на пороге, он встал, подошел к одному из спидоносцев, поднял его со стула и смачно поцеловал прямо в губы, еще лоснящиеся от шоколадного мусса. Эта смелая выходка застала Берка врасплох. Он тут же смекнул, что запечатленный на фото- и киноплёнке поцелуй Дюберка имеет шансы на бессмертие. Он тоже встал и принялся лихорадочно соображать, не стоит ли и ему облобызаться со спидоносцем. Вначале он отверг сие искушение, поскольку в глубине души не был полностью уверен, что контакт со слизистой оболочкой больного полностью безопасен; затем решил побороть подозрение, полагая, что ради такой фотографии стоит все-таки рискнуть; на третьей фазе размышлений и колебаний его порыв к спидоносным устам был остановлен нижеследующей идеей: в свой черед расцеловавшись с больным, он отнюдь не сравняется с Дюберком, скорее наоборот — ему будет уготовлен ранг последователя, подражателя, а то и пародиста, который своей поспешной и необдуманной выходкой лишь прибавит славы начинателю. И он, глупо улыбаясь, так и остался стоять столбом. Но эти несколько минут нерешительности обошлись ему дорого, потому что на него были нацелены кинокамеры, и вскоре в тележурнале вся Франция смотрела на его лицо, на все три фазы замешательства, смотрела — и ухмылялась. Ребятишки, собиравшие пакеты с рисом для Сомали, подоспели ему на помощь как раз вовремя. Он стал использовать каждый удобный случай, чтобы ошарашить публику глубокомысленным

изречением: «Только дети живут по правде!», а потом отправился в Африку, где снялся рядом с умирающей чернокожей девчушкой с лицом, облепленным мухами. Фотография прославилась на весь мир, прославилась куда сильнее, чем тот снимок, на котором Дюберк лобызается со спидоносцем, ибо умирающий ребенок имеет куда большую ценность, чем умирающий взрослый, — сия непреложная истина в тот момент все еще ускользала от Дюберка. Тем не менее он не чувствовал себя побежденным и несколько дней спустя появился на телеэкране; будучи ревностным христианином, он знал, что Берк — атеист, это навело его на мысль прихватить с собой в телестудию свечку, оружие, перед которым даже самые закоренелые безбожники не преминут склонить головы; во время интервью с журналистом он выудил ее из кармана и зажег; горя желанием коварно опорочить заботы Берка об экзотических странах, он завел речь о горемычных детях деревень и предместий Франции и призвал соотечественников со свечами в руках продефилировать по улицам Парижа в знак солидарности с лишенными детства ребятами; вслед за тем с затаенным злорадством он пригласил не кого иного, как Берка, возглавить эту демонстрацию. Перед Берком стал выбор: либо участвовать в шествии со свечками, превратившись таким образом в церковного служку при Дюберке, либо как-то отвертеться от этой затеи и стать мишенью для насмешек. То была искусно расставленная ловушка, выбраться из которой можно было лишь способом столь же смелым, сколь